661-19
Л190

Е. ГАЛАЙСКАЯ И В. ЧЕРКАСОВ

П 149
22

МОСКВА и ВОЛГА

[illegible]

Обложка произведений детей и Школьных, кружковых и художественных мастерских гор. Москвы и пр. под редакцией Е. А. Галайской и В. К. Черкасова.

Издание Общ-ства кружков 1922 года при клубе „1-го мая".

[illegible]

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сборник воспоминаний детей с Поволжья, курсантов-рабочих и красноармейцев, переживших голод 1921–1922 годов.

- Е. Галайская и В. Черкасов
  -
  - ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
  - Скорей, пока не поздно
  - Голод
  - Сон
  - Дети Поволжья в Москве
  - Как я узнала, что папа и мама мне чужие
  - Идет весна
  - Искорки
  - Спор
  - Зачем я убег в Москву
  - Когда я ехал
  - На память!
  - Гимн курсантов «1 мая»
  - Беженцы
  - Как я пережила голод
  - Рассказ о моей жизни. Как я жила в Петрограде
  - Пристроила
  - Тоска ребенка
  - Загадка
  - Тайна веков
  - Стой, товарищ!
  - Исповедь хулигана
  - Доклад старого Московского кота
  - Сын полей
  - Призыв
  - О побегах
  - Как утолить в Москве умственный голод детей Поволжья?
  - Памяти Погорелова
  - Шарада
  - Задачи
  - Буревестники
  - Весна
  - Доброе лицо и злое сердце
  - Фасоль
  - Холера

    - Ценности церквей — голодным
    - Добрый пастырь
    - Лебединая песнь старой работницы
    - Красная заря
    - Загадка
    - Ответы на загадки
    - На чужой каравай рта не разевай
    - Горн дышет
- notes
    - 1
    - 2

Е. Галайская и В. Черкасов
Москва и Волга

Свой первый труд
дарит Поволжью
Сын полей
В знак памяти своей.

Сборник произведений детей с Поволжья, курсантов-рабочих и красноармейцев гор. Москвы и др. под редакцией Е. А. Галайской и В. К. Черкасова.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Несколько предварительных замечаний о содержании сборника «Москва и Волга».

Материал этого сборника и причины его выпуска требуют некоторых об'яснений. Возник он совершенно случайно, как результат психологических наблюдений над детьми из голодающих мест, когда мы заинтересовались вопросами, как преломляются в понимании детей переживания голода; какова их оценка и критика официальной помощи, отношение частных лиц и как отразились все эти отношения на поступках и психике детей. Относящиеся к этому факты были записаны или со слов детей или самими детьми в виде письма о себе. Потом этот материал был предложен для обсуждения курсантам «1 мая», рабочим и кр-цам, которые добавили свои наблюдения и взгляды по этому вопросу. Разбирая эти первые литературные опыты детей народа, еще не тронутых культурой, — мы были поражены верностью и глубиной их наблюдений, своеобразной красотой стиля и тонким пониманием прекрасного, и нам жаль стало бросить это наивное творчество, в котором скрыто больше красоты и возможностей, чем в произведениях настоящих писак. Представляя исторический и психологический интерес для преподавателей, этот сборник, думается нам, с неменьшим интересом прочтется и остальной публикой, а может быть вызовет желание попробовать и свои силы, — тогда наша цель будет вдвойне достигнута.

Школьные работники: Е. Галайская.
В. Черкасов.
Москва. Покровская 13.

Скорей, пока не поздно

Есть слезы, незримые в мире,
Есть горе без слез и речей,
То горе и глубже и шире
Всех в свете глубоких морей.
То — дети Поволжья бредут одиноко;
Их Волга не вместит в своих берегах;
Бросает их голод в страшное море порока.
Там плавает смерть на волнах —
Рокочет и плачет то море,
И бьется о берег угрюмый…
В нем честь и надежды России,
Здоровье и молодость тонет —
Молча, покорно, без шума…
Плывут и плывут без конца,
И все не мелеет то море
Горючих страданий полно!
И плещет в избытке там горе
На жизненный берег давно.
То море — Поволжья несчастные дети:
Бегут от своих же отцов,
Отрава порока их кормит на свете;
Похожи они на живых мертвецов.
Идите ж скорей! Ступайте
То море, чем можно, исчерпать до дна,
Боритеся с ним, побеждайте,
«Спасибо» вам скажет страна!

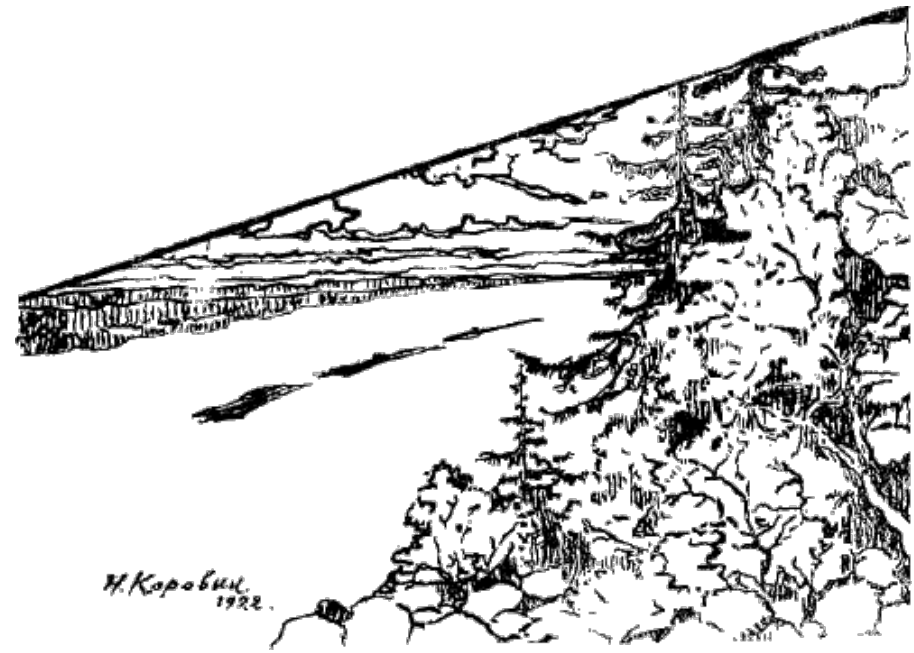
Курсант «1 мая».

Голод

На Поволжья люди гибнут тысячами. Все, даже самые черствые люди содрогаются от ужаса, и жалость проникает в их сердца. И действительно, что может быть ужаснее вида мученья голодной смерти сотен и тысяч людей, когда люди, чтобы заглушить это страданья, удовлетворить естественную потребность желудка, обманывают свой вкус и едят всякую гадость, вроде: глины, навоза, листьев и т. п., а за неимением этого обгрызают собственные пальцы, заглушая в себе не только человеческие, но и присущие животным чувства любви к собственным детям, режут, варят и едят их, или заглушая всякое нравственное чувство брезгливости — едят трупы близких — что может быть страшное этой картины? Но разве смерть одного человека от голода не так же страшна, не так же он страдает, как и те, гибнущие сотнями? А ведь и в былое сытое время такие случаи были и нередко были. Часто умирали от голода фактически, но не так резко и в теории выходило, что умирают от какой-нибудь болезни, происшедшей то ведь от голода. Неужели вы думаете, что это было менее ужасно и человек менее страдал? Нет! Может быть, видя вокруг себя сытых, он страдал еще больше и дольше. Но такая одиночная смерть менее била публику по нервам… это не замечалось и казалось, что все в порядке, а голод был и прежде «в доброе старое время», не как стихийное бедствие, а как результат социальных условий, и сейчас не время разбираться в причинах голода, а нужно просто помочь его пережить, чтоб он как можно менее отразится на здоровье и нравственности детей, а то у нас винят друг друга, а дела не делают…

Курсант «1 мая».

Сон



Снилась мне Волга, родная старушка. Весна. Деревья одеты сочной зеленой листвой. Нежная, молодая травка ковром покрывает землю; наивно выглядывают первые цветочки. Должно-быть, славный, сладкий аромат разлит повсюду, но во сне не ощущается обыкновенно запах. Волга в полном разливе. На всю ширь разлилась, родимая! Вон, на той стороне уже затоплены первые избенки небольшого села, и деревья леса, окружающего это село. Словно море! Теплое весеннее солнце близко к закату. Волга спокойна. Чуть-чуть набегает рябь от тихого ветра, и лучи солнца превращают в золото эту рябь. Я стою на крутом, обрывистом берегу и жадно смотрю на эту родную мне картину. Столько разнообразных чувств нахлынуло в душу, что, представляя нечто громадное, они, кажется, уже не могут уместиться в груди и просятся наружу… Эх, лодку бы сейчас и песню волжскую! Как то сразу замечаю, что на Волге необычайно тихо. Невольная тревога заползает в душу. Солнце почти совсем ушло за горизонт. Волга потемнела, — и еще более стала заметна эта зловещая тишина. Что же случилось? Почему я одна на всем этом громадном пространстве? Почему не слышны пароходы, не видно массы лодочек с веселой молодежью? Почему не льются родные волжские, тягучие песни под доморощенные струнные оркестры? С тревогой смотрю вокруг. Никого, ни души! Совсем

стемнело. Волга сурово задумалась и холодом пахнуло от нее. Лес сердито заворчал что-то. Жутко стало. Схожу у утеса и бегу домой. На половине дороги, из кустов, еде покрытых листвою, выползает на дорогу что-то темное, бесформенное и едва слышным голосом, заглушаемым шелестом леса, молит: «Хлебушка, родимый, хлебушка, — хоть кусочек!» Наклоняюсь над этой массой и в ужасе отматываюсь. Страшный, кошмарный скелет с присохшей черной кожей на костях, с громадными дикими глазами и оскаленными зубами смотрит на меня. Ужас обхватывает всю меня. Хочу бежать и не могу. Хриплым шопотом спрашиваю: «Разве ты человек?» — «Хлеба! Хлебушка!» — тянет нудно скелет и протягивает тощие, костлявые руки.

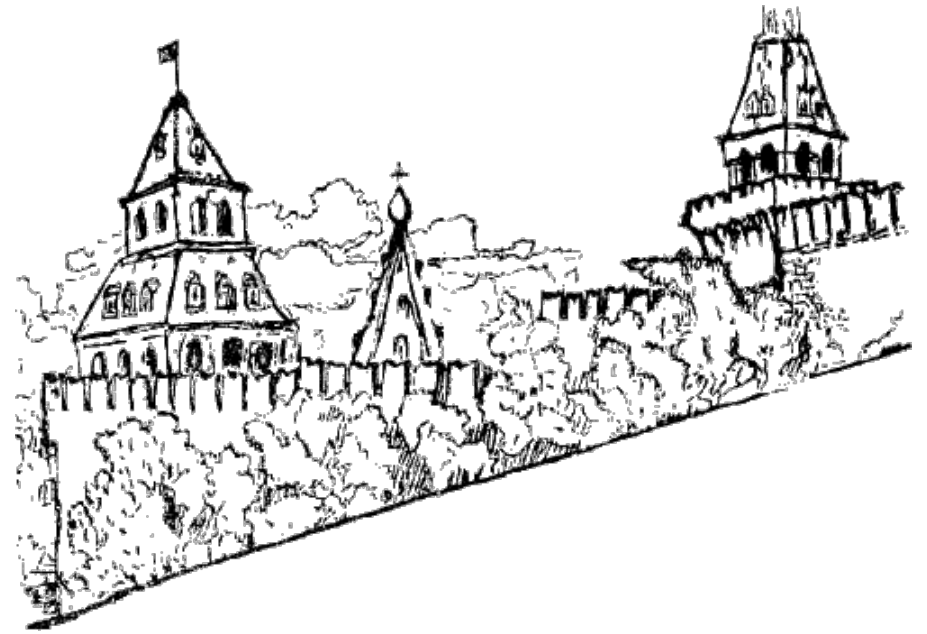
Вот выползает еще скелет поменьше, ребенок, верно. Тонкий, как пение комара, голосок просит: «Тетенька, хлеба! Хлебца кусочек маленький! Дай, тетенька, хлебца.» И вдруг со всех сторон потянулись они, эти маленькие скелеты. И скелеты побольше. И совсем большие. Протягивают ко мне костлявые свои руки, щелкают зубами, хватают за платье и молят, молят: «хлеба, хлеба, хлебушка». Кажется, все Поволжье собралось здесь. И сплошной их стон превращается во что-то жуткое, зловещее, давящее. Ужас пронизывает меня. Я задыхаюсь. Хочу кричать, бежать, но со всех сторон за меня уцепились руки. Нет сил вырваться. Голова кружится!..

Волга! Теперь я поняла твою зловещую тишину. Голод заглушил твои веселые песни, голод обезлюдил Поволжье. И только вековечный стон несется над родной рекой!.. Теряю сознание и лечу в какую-то пропасть. С криком и слезами просыпаюсь в своей Московской комнате и долго не могу успокоиться.

Этот кошмар навеян рассказами детей, прибывающих из Поволжья, воззваниями о помощи, расклеенными на стенках и маленькими попрошайками на улицах.

Курсантка «1 мая» Николаева.

Дети Поволжья в Москве



Наша страна переживает ужасное время — голод. Самые плодородные губернии, как Самарская, Саратовская, так называемые житницы России, постигло это несчастье, как результат народной темноты. Люди мрут от голода. Нет хлеба, да, нет хлеба… И мне слышатся стоны голодающих и встает картина народного бедствия… Голодные, изнуренные родители не могут накормить своих детей. Иссохшие груди матерей не дают молока. Напрасно грудные дети кричат дни и ночи. Опухшие, отекшие дети виднеются повсюду и взывают о хлебе. Со всех сторон стекаются они в Москву, надеясь на помощь.

И, действительно, Москва идет им на встречу. Масса детей забирается с вокзала в приемники. Здесь они встречают радушный прием со стороны служащих и находят кров, пищу и одежду. Согретые материально и духовно, дети оживают и забывают тяжелые переживания, трудную, далекую дорогу и увлекаются играми, чтением и занятиями под руководством педагогов.

А педагоги в это время присматриваются к ним, отмечают их индивидуальные черты. И вот постепенно выступает фигура каждого ребенка с его особенной духовной жизнью, его наклонностями. Сообразно с запросами ребенка определяется и его жизненная дорога. Так одних, интересующихся ремеслом, отправляют в мастерские, других — в школы, детские дома.

Многие граждане Москвы, желая облегчить трудную задачу, приходят на помощь детям и некоторых из них берут на воспитание.

Так Москва справляется со своей нелегкой задачей. Трудна эта задача и пожелаем все успешного разрешения ея. И вместо с детьми поблагодарим Москву за то, что она сделала и делает для детей.

А. Рамбаева.

Как я узнала, что папа и мама мне чужие

Я не помню своих родителей и всегда думала, что тетя и дядя, у которых я жила, — мне папа и мама: они меня очень любили. Когда у тети родился мальчик, она больше стала с ним возиться, а дядя и тогда не изменился ко мне. Мы все любили маленького Сергуньку. В прошлом году дядя продал свой дом, лавочку, все хозяйство в Волынской губернии и мы переехали в Сибирь. Он говорил, — там земли много, теперь можно брать, сколько хочешь. Я стану сам помещиком. Он купил земли и много поля засеял, но ничего не уродилось. И купить не на что было, — он имел много долгов. И нам пришлось очень плохо. Сначала тетя ездили продавать платья и менять на хлеб в Харьков. А потом нечего было менять. И вот она стала печь лепешки из чего попало, — немножко муки достанет, спрячет и печет только для Сережи, а мне не даст. И если я прошу есть, — кричит на меня. А как она уйдет или отвернется, мне хочется вырвать у братишки и есть.

Раз ночью слышу: тетя и дядя тихонько разговаривают — они всегда ночью так интересно разговаривали и я любила слушать. Тетя и говорит — «надо ее в приют отдать, что будем чужую девочку кормить, когда самим есть нечего. Наш ребенок умрет с голоду». А дядя говорят: «ее не возьмут в приют, скажут: „давай лучше маленького“». Тогда тетя говорит: «ну, так сведем ее на вокзал и оставим: пусть красноармейцы заберут». «Нельзя так», — говорит дядя, — «как нибудь перебьемся». Мне стало так больно в груди, я засунула голову под подушку и стала плакать. На другой день дядя уехал куда-то, а тетя одела меня, взяла Сережу, дала мне хорошую Сережину лепешку и мы пошли на вокзал. Шли далеко все улицами. Пришли. Она посадила меня в такой большой комнате, где много людей и говорит — «подожди, я куплю билет и сейчас сядем на этот поезд и поедем за хлебом. А ты слушай, когда будет звонок.» А я говорю ей: «тетя! (я всегда звала ее мама, но теперь сказала тетя) я знаю, что я чужая девочка и ты не придешь сюда, ты не за билетом идешь, а домой — я ночью все слышала». Тетя заплакала и так долго сидела на лавке и плакала, и я стала плакать. Потом она вытерла мне лицо платком и сказала: «пойдем домой. Что Бог дает, то и будет». Мы пошли все домой. Дядя ничего не привез хлеба и стало еще хуже. У Сергея и у меня стал болеть живот, такой большой стал и глаза такие большие страшные, как я видела в книжках и сказках

рисуют. Прежде я думала, что это так нарочно: дети такие не бывают. Дядя все лежал и плевал кровь. Тогда мы поехали в Харьков. В поезде красноармейцы давали нам есть, а иногда два дня ничего не ели. Сережа пухнул, а тетя сначала плакала, а потом сидела и молчала, только смотрит куда-то и что-то шепчет. Потом Сергей умер — она и говорит: «Бог наказал» и опять все молчала. И дядя умер — она все молчит. Потом на одной станции она говорит: «Пойдем хлебца попросить» — я пошла. Мы пошли за вокзал, какой то развaленый дом. Я говорю: «где мы тут хлеба попросим, здесь никого нет!» А у нее такие глаза страшные! Она взяла меня за плечо и укусила за лицо. Я стала кричать — там стал человек под стенкой, прибежал и стал бить тетю и ругать, а другой человек сказал — надо доктора, она больная. И ее повели на вокзал. Там доктор клал нам трубочку и сказал, что и я больная. И нас взяли в больницу. В больнице дали мне каши, я ела и потом меня рвало и больше ничего не помню. Когда то я проснулась, — смотрю: на голове нет моей косы. Я заплакала. Потом мне сказали, что тетя умерла и меня привезли сюда. И больше я ничего не знаю и очень хочу учиться. А на тетю я не сержусь, только — зачем она сказала, «чужая девочка»! И больше я не говорила на нее — «мама».

Настя Ходунова, 13 лет.

Идет весна

Прошли крещенские морозы.
Весна теперь уже нас ждет.
И с крыши скоро, словно слезы
Вода ручьями потечет.
Прощай, прощай, старуха злая
С своей суровой красотой!
Нас ждет теперь весна младая
И манит радостно рукой.
Уйдут бураны и морозы
И с ними ты, зима, уйдешь,
Умчишься в северные страны,
С собою холод унесешь.
А к нам, в пестреющем сияньи,
Придет веселости полна
И жизни новой начинания
Примчит к нам светлая весна.

Е. Комар, 14 лет.

Искорки

Мы — лишь искорка ночные,
Блещем сумрачным огнем,
Как под солнцем цветики степные,
Мы от ласки ярко зацветем.
Дремлют наши силы и желанья,
Мы еще ничтожны и малы,
Но у нас высокие мечтанья —
В сердце бурные валы.
И пройдут неслышно годы,
Племя старое умрет.
Светоч братства и свободы
В руки юноша возьмет,
Путь осветит пред собою,
Победивши капитал,
Станет твердою ногою
На гранитный пьедестал
И затихнут сразу грозы
Светом знанье землю озарит.
Разум, братство и свобода
Ярче солнца заблестит.
И наступит в мире счастье,
Все осветится огнем.
Сгинет черное ненастье
Перед правдой и добром.

Е. Комар.

Спор

(Подражание Лермонтову.)

Тучи раз сошлись толпою
И подняли спор,
Подлетевши над землею
Выше снежных гор.
Говорит одна сквозь споры:
«Поднялася я,
Что от сюда вижу горы,
Реки и моря.
Никому уж не подняться
Выше нас с тобой
И сюда могла б примчаться
Лишь орлы порой.
Я велика и могуча,
Хладна, как металл.
Я — нахмуренная туча,
Крепче твердых скал».
Усмехнулась лишь меньшая,
Как в ответ словам
И сказала отвечая:
«Посмотри, что там?
Скажи, из нас кто знает,
Что творится там?
Что-то быстро подлетает
Направляясь к нам».
«Видишь воздуха царицу?
Видишь белый хвост?
Посмотри на эту птицу,
Посмотри на рост.
С сильным шумом быстро, плавно
В высоте летит,
И на этой птице странной
Человек сидит».
Туча голову спустила
На вершины скал.
«Отчего ты приуныла?»
Ей утес сказал.
«Оттого мой лик тревожен
И уныла я —

Победил, хоть и ничтожен,
Человек меня».
Вдруг, вися над страшной бездной, —
Затрещал утес:
Это киркою железной
Бил каменотес.
Сильно, сильно застонавши,
Вдруг утес упал,
А в руках топор державший
Гордо человек стоял.

Е. Комар.

Зачем я убег в Москву

Я уехал, даже убежал, потому что сказывали, что в Москве дают помощь всем, а у нас перестали родители жалеть своих детей, как не только отбирают хлеб, если подают из вагона, а даже поедают своих детей. Со мной ушла девочка, у которой мать с'ела маленького, и она испугалась и убежала и здесь нам очень хорошо и сестриц мы любим, только охота мастерству учиться.

Ст. Абдулино Митя.

Когда я ехал

Когда я ехал из Туркестана в Россию, то видел ужасы голодающих губернь от гор. Казалинска и до самой Москвы. Народ до того изнуренный от голода, холода, оборванный с плачем подходит к эшалону, ехавшему из Туркестана, и просит хотя бы заплеснелую корку хлеба. Один из таких голодающих мужчин зашел к нам в вагон попроситься проехать несколько станций в нашем районе. Старший нашего вагона разрешил ему сесть и ехать. Голодающий человек рассказал, как у них в Самарской губернии вымирают целые семьи от голода. Он сам остался чуть жив, а семья его вымерла. Потом показал нам, чем они питались; какой-то черный комок и он назвал его жмыхой. Когда он дал попробовать, то меня чуть не стошнило от этого жмыха. Голодающий до того был слаб, что еле слезал из вагона.

Маленький красноармеец.

На память!

Утром встанешь рано,
Книжки соберешь, в сумку положишь и в школу побредешь.
А мороз сердитый носик тебе щиплет.
Щечки разрумянит, пальчики сведет.
Вот подходишь к школе, слышны голоса и мороз внезапно свалится с тебя.

Вера, 16 лет.

Гимн курсантов «1 мая»

Наш девиз боевой:
«К знанью вперед!»
Смело выступим в бой
Мы с невежеством, тьмой.
Проведемте, друзья,
Этот день веселей!
Экскурсантов семья,
Собирайся дружней!
Все мы к званию идем,
Мы за правду стоим!
Не сегодня, так завтра —
Но мы тьму победим.
Проведемте, друзья!
Этот день веселей!
Экскурсантов семья,
Собирайся дружней.

Беженцы

Как усе приходили и усей хлеб забрали так и мыши нечего есть стало и пошли они хлеба искать. Мыши и людей не боялись, как повидят, что едят, так и идут. За грехи бог усем горе послал… И мы их не били. Много мышов собралось и пошли в дальную сторону, как буржуи: звестно усе жить хочет. И мы пошли, — неохота хозяйство бросать, а сеять нет чего, и пошли. Мне охота назад ехати: я в няньки найду, а здесь воздух чижолый и скушно, всю работу забыла.

Поля Адушева, 10 лет.

Как я пережила голод

Сначала я жила очень хорошо; были у меня папа, мама, сестра и два брата и один дом. А как пришел голод, папа умер, дом отобрали, мы были маленькие еще, не могли заработать, а мама больная и стало жить плохо. Продавали одежду и ели, а потом поехали из Казани в Москву, чтобы прокормиться. Ехали долго и есть нечего было. Много людей по дороге умирало. Долго стояли на станциях, а есть с собой не было, и кто имел, другому не давал. Через пять дней умер мой младший брат. Когда приехали в Москву, мы еле слезли с поезда, и всем распоряжался старший брат — 13 лет. Он положил маму в больницу, а мы все пошли в Покровский приемник. Там нас выкупали, одели чистую одежду и сейчас накормили — дали белой каши, супу, пышку, но мы есть не могли, потому что натерпелись голодом. Долго лежали и ничего не хотели и боялись в такой большой комнате и было холодно. Потом мы стали хорошо есть и скоро поправились. Сначала сестрицы говорили: «встаньте, поиграйте», я потом стали говорить: «посидите смирно». Где наша мама и брат, мы не знаем, а я с сестрой в детском доме «Красная звездочка».

Мария Помпеева, 10 л.

Рассказ о моей жизни. Как я жила в Петрограде

Пишу я вам рассказ о моей жизни, как я жила в Петрограде и жила у тети. Я у тети жила очень хорошо. Она меня считала дочкой, а я ее мамой и дядю папой. И не знала, что они мне дядя и тетя, а когда я узнала напишу после, а сейчас напишу, как я начала учиться. Очень просила, чтобы меня отдали в школу, а когда мне исполнилось восемь лет, меня отдали в школу. Я была первой ученицей в классе и часто получала успехи. В первом классе я училась пол-года и перешла во второй, а дальше мне не пришлось учиться, потому что тетя заболела чахоткой и доктор ей сказал, чтобы она ехала на южную сторону и пить парное молоко. Она стала собираться уехать и взяла меня и своего родного сына. А дядя остался в Петрограде на военной службе. Так значит мы трое поехали на южную сторону, то есть в Харьковскую губернию к малороссам. Мы нашли себе там квартиру у старых малороссов, мужа с женою. У них не было детей. Мы прожили с тетей только три месяца. Тетя не выдержала болезни и умерла. Вот теперь я вам напишу, как я узнали, что она мне тетя. Тетя сказала перед смертью, что она мне не мама, а тетя. Но я этому не верили, плакала, рвала все на себе. Когда она скончалась, я осталась с ее сыном, то есть двоюродным братом у тех же старых малороссов. Я написала дяде письмо за письмом, но ответа не получала. Малороссы нас приняли за своих детей. Мы жили у них очень хорошо, стали их звать дедушкой и бабушкой. Я думала, что дядю где нибудь убили, потому что не было известия. Но оказалось, что он жив и невредим.

Прошло девять месяцев. Дедушка с бабушкой хотели нас записать в родные дети. И вдруг, на другой день приезжает дядя. Но я его не решалась видеть. И вот он хочет нас взять к себе. Я очень плакала и не хотела ехать, потому что я очень привыкла к нашим старым малороссам и они ко мне тоже. Они плакали и говорили: «не уезжай от нас, оставайся у нас, мы тебя очень любим» и я им говорила, что не поеду. Но дядя стал меня уговаривать, что куда он нас повезет, там очень хорошо. И я его послушала, — уехала. Привез он нас в город Саранск, там нашел нам квартиру. Я сама хозяйничала, а дядя ходил на службу. Потом, так через месяц, его командировали уехать и он уехал от нас. Потом нас стали с квартиры выгонять, я пошла к одному комиссару и сказала ему, что нас выгоняют с квартиры, — куда мы пойдем! Он сказал: «я завтра за нами приеду и возьму вас в

общежитие коммунистов». Я ждала его и, наконец, дождалась. Он приехал и взял нас в общежитие коммунистов. Там я жила хорошо, но долго нас там не пришлось держать, и отдали нас в приют. Там мы прожили только одну неделю: приехал опять дядя и взял нас из приюта. Дядя снял комнату. Я у него очень плохо жила, просилась в школу, — он не отдавал; я плакала, но ничего не помогло. Он меня бил, ругал, потом он взял себе вторую жену барышню и стал собираться уезжать в Самарскую губернию и взял опять меня. Я не хотела ехать, а он не оставлял меня. Поехали мы все уже четверо в село Полимовку. Там я все у них делала, а они была недовольные, хорошо или плохо. Дядя заболел сыпным тифом; мне пришлось бегать по всей деревне искать молока. В это время молока не было в селе. А его жена меня посылала и говорила: «где хочешь бери молока, а если не принесешь — тебя выгоню!» Все время так пугала. Потом стала куда то уезжать. Я сказала им: «с вами не поеду, вы меня отдайте в приют, — и хочу учиться». Они меня и отдали в Бузулук — маленький городок. Там был приют, приехавший из Петрограда под названием «Ольгинский». Они меня там оставили одну, а брата двоюродного взяли с собой. Я там первое время скучала, а потом привыкла, — были хорошо. Я окончила четвертый класс. У меня были ноги отморожены, но я все таки ходила в школу. Я много очень болела. Потом там стал сильный голод; стали приют отправлять в Петроград. А меня заведующая оставила у дяди в Москве. Я пришла к дяде и сказала: «примите меня или нет? Если нет, то я пойду на станцию, пока еще не уехал поезд и поеду в Петроград». Он сказал: «оставайся у нас». Я осталась. Они меня отдали в пятый класс в школу, потом не могли меня содержать и сказали: «ищи себе место». Я и пришла к вам. Дальше что будет, напишу после, а сейчас очень извиняюсь, что плохо написала, я вас всех очень полюбила и прошу не отправлять меня в другую палату до эвакуации.

К. Евдокимова. 14 лет.

Пристроила

Говорят, что к старости люди любят заниматься сватовством, ханжеством или благотворительностью. До тех пор я этим не грешила, но сейчас я определенно старею, т. к. первый опыт в этом направлении уже сделан и, нужно сознаться, настолько неудачный, что отбил охоту к повторению. Принципиально терпеть не могу благотворительности, но иногда невольно изменяешь своим принципам… Недели три тому назад приехала с Поволжья татарская семья и глава ее устроился дворником в учреждении, где я живу; в своем углу он устроил ночлежку для приезжающих земляков и организованный очаг заразы: один за другим татары болели, умирали, развозили тиф по деревням и в течение трех недель из двенадцати человек осталось в живых девять, а здоров — один мальчик. Мужчины — одни умерли, другие умирали. Только одна больная женщина еле еле передвигала ноги. А ребятишки представляли из себя какой то клейстер. Все это ютилось в крошечной каморке, в повалку на полу, больные и здоровые, женщины и дети и ночлежники-спекулянты с товарами. Для экономии тепла, все это сбивалось в кучу и храп здорового аккомпанировал бреду умирающего. Три раза в обществе живых ночевал труп… И тут же по их пролетарским телам прогуливались блондинистые буржуи, делая бесплатную прививку.

И пришла мне блажная мысль: спасти черноглазого Исмаила. Уговорила я мать отдать его в детский приемник и увела с собой. Еле добрел бедный ребенок до приемника. И всю дорогу я изводилась, что он не дойдет, и жалела, что вмешалась в распоряжение судьбы. Но когда вымытый и одетый мальчик с блестящими глазками стал уплетать молочную кашу, повторяя: «карош, очни карош» и только беспокойно озирался, теряя меня из виду, а увидя радостно бежал ко мне, — я была удовлетворена. При моем уходе он отчаянно плакал.

Но когда я пришла на другой день, то уже не застала его. Он заболел и был отправлен в больницу. Другой мальчик сообщил мне, что лежал с ним вместе и что татаренчок очень плачет. Надеясь, что ребенок выздоровеет, я ничего не сказала матери.

Чрез несколько дней поправился его отец и пожелал посмотреть на сына. Идем. Приходим в больницу. Спрашиваем, — «нет и не было такого»! Возвращаюсь в палату, там справляюсь: отправлен тогда, туда, в такую то палату. Иду опять. «Нет и не было». Волнуюсь, прошу, требую. Ищут в журналах: нигде нет. До порога третьего этажа больницы идет след, а за порогом

отверзлась бездна и бесследно поглотила ребенка. Повидимому, принимая в больницу, сестра не записала, и больной умер или отослан куда нибудь и пропал бесследно. Словом, я пристроила его хорошо… С утра и до трех часов продолжались поиски и без результата: ни в списке живых, ни умерших его не было. Отец угрожающе что-то бормотал мне, а я молчала. Да и что могла бы я сказать ему?

Вечером, вернувшись домой, я застала у дверей татарку. Она схватила меня за руки… В ее глазах было столько мольбы и страдания! А по желтым щекам катились слезы… «Малайка, алайка», — повторяла она. Я вырывалась от нее, говоря, что мне некогда и я не понимаю ее. Но я сознательно лгала. Я отлично понимала, что она требует своего сына. Наконец, я не выдержала, прижала ее к сердцу грязную, больную татарку и сама разревелась.

Всю ночь у меня в ушах отдавался то отчаянный плач мальчика, то тихий, жалобный стон матери. Я прятала голову под подушку, старалась думать о другом, но эти воспоминания проникали в мозг, ударяли по сердцу, тянули за нервы. А все кругом шептало: «пристроила, пристроила!»

Е. Джиотти.

Тоска ребенка

Хмурое небо, погода сырая,
Лужи и грязь.
Живу я в приюте, душой изнывая.
По ночам льются слезы из глаз…
Здесь так неприветливо небо и дети так злы.
А вокруг беспросветная тень…
Скоро ль уйду я из чуждой семьи
И дома с родными
Встречу ликующий день…

Тамара из Туркестана, 14 л.

Загадка

№ 2.

Когда мужик домой приедет, что он прежде всего скажет?

Тайна веков

Под светлый сияньем востока,
Под южным припеком лучей,
Как бурные струи потока,
Проникли посланцы людей.
Проникли могучие люди
В глубокие недра земли,
На страшно высокие кручи
Зажгли на скалах маяки.
И море они захотели
Устроить дорогой своей:
Не страшны им скалы и мели,
И носят моря кораблей.
Над воздухом грозным, могучим
Победу свершили они.
В моторе свободно-летучем
Поднялися плавно с земли.
Сердито шипящие змеи
Их носят по шумной земле.
Как будто могучие феи,
Сверкая в дыму и в огне…
Но годы неслышно проходят,
Века пролетают толпой —
События новые родят
Своею могучей рукой.
Погибли уж гордые люди,
Погибли от время руки;
Прижали их мощные груди
Земли бессердечной слои.
И солнце застыло навеки,
Земля охладилась давно,
Замерзли глубокие реки.
Мерцание звезд лишь одно
Безмолвно землю освещало
Едва лишь заметным огнем
И слабо на льдинах блистало.
Но скрыто все было при нем.
Прошло, изменилося много,
Разбилось о жизни утес
И время разочаровало так строго
Служителей радужных грез.
Во прахе холодном застыло

И скрылось в темнеющей мгле,
Что двигалось раньше и жило,
То сгнило в холодной земле.
И думы, пустые мечтанья
Без крыльев умчалися прочь.
И лучшие все начинанья
Обуяла тихая ночь.
Погибла могучая злоба,
Застыла с сердцами людей,
Из крепкого прочного гроба
Уж больше не выбраться ей.
Во прахе сыром и холодном
Покой отыскал и позор:
Застал в ожиданьи бесплодном
Немой, молчаливый укор.
А ветер все воет могучий
И снова затихнет порой.
Застывшие серые тучи
Летают над мертвой землей.
В пространстве земля одинока
В холодном эфире лежит.
А где то далеко, далеко
Звезда отливаясь блестит.
И на ней человек,
В новую форму хотя облечен,
Но давней тоскою о чем то
Прекрасном, далеком,
И страстью познанья
По прежнему он наделен.

Е. Комар.

Стой, товарищ!

Стой, товарищ, и послушай,
Что творится на Поволжье!
Слышишь плачь детей голодных
Вопли, стоны умиравших…
Крик, отчаяния полный?
То они к тебе взывают,
Твои братья из Поволжья,
Дети коих умирают.
Они сами кожа, кости
И на призраков похожи…
Взгляд блуждающий, угрюмый,
На лице печаль безумья,
И страдания гримасы.
Все, в ком сердце бьется,
Честь и совесть не угасли,
Те поймут тот крик страданья
И рукою щедрой
Принесут все в жертву
Братьям из Поволжья.

Краснопевцев.

Исповедь хулигана

Родился я в деревне Алексине, возле г. Аткарска Саратовской губ. Пока жил отец, нам было хорошо. Прошлый год не было чем сеять и семян не давали. Отец пошел добывать и умер на дороге. Мамка стала сердитая. Целый день ходит, а мы сидим в избе трое: я, сестренка и махонькой. Она придет, сядет на лавку, а мы запросим хлеба, она и станет нас бранить: «у, проклятые, пропасти на вас нету, отец помер, а на вас и погибели нет, пошли спать.» Мы плачем, плачем и уснем; а махонькой все плачет. Мамка — то его под грудь положит, то бьет, то кинет на кровать и уйдет. Совсем плохо стало. Носили мы из лесу порожнявое дерево, сушили и делали крупу, варили суп. А как замерзло и снегу стало много — бросили. Раз приходит соседка, и говорит: «умерла бабушка то, слава Богу, приходи ужо». Мамка пошла, а нам не велела. После приходит и в тряпке мясо принесла, кинула на лавку и стала перед образом поклоны класть. Сестренка подбежала и говорит: «мамка, суп варить будем». А мамка как кинется к ней и кулаком ее по голове, кричит: «Пошла, окаянная, я тебе дам суп!» А потом заломила руки и стала голосить. Мы убегли из избы… Как поели это мясо, опять нет ничего. Вот раз махонькой все плачет и плачет, а сестренка все к мамке — «дай поесть», а я молчу. Мамка как бросит о земь махонького — «Вот нате, ешьте, сейчас я вас накормлю». Мы стали кричать, а она нас прибила. Махонькой лежал и молчал. Потом мы его с'ели..

Вот я и подумал: мамка и нас побьет и с'ест. И убег. Собралось нас трое, а девченку не взяли: что с ней возиться! У одного товарища был брат в Ташкенте и уехал на Кубань с белыми. И прислал письмо, что на Кубани жить хорошо. Мы и надумали ехать к нему. В поезде много ехало детей в Москву из Чувобласти. Мы молчали и они нас кормили, а как начинали нас спрашивать — мы уходили в другой поезд. Потом ехали с кр-цами. Там хорошо было: они ничего ни спрашивали, давали есть и папиросы давали… Раз мы разрезали шинель у одного, когда он спал и достали деньги — 5 лимонов. Ушли с поезда на другой. В Москве мы купили папирос и стали торговать. Весело было: в кино ходили, на пиво, к барышням, на трамвае катались. Кормили нас на пункте — там каждый день много, ведь нас где им всем упомнить! А как нет денег, то один из нас идет к поезду, когда приедет с голодными. И там его заберут в приют, вымоют, оденут хорошо и отправляют в детский дом — я был на Мясницкой, в Покровском, в Харитоньевском, в Лефортове. Ну, побудешь несколько дней для интересу, а потом — гайда домой

— на Курский или Рязанский. Скучно в детском доме и холодно. Гулять не велят ходить, если курить, ругаются сестрицы, а сами курят. Делать нечего, книжки хорошей нет, никакому мастерству не учат: нешто меня весь век будут в детском доме держать, а чем хлеб зарабатывать не учат. Ну и убежишь. На воле продашь казенное платье, ботинки и опять в торговлю. Скучно в Москве, то ли дело в деревне. Как я был пастухом, лежишь и смотришь, как всякая комашка ползет, работает, как птички поют, а то зайчик пробежит; небо такое красивое, так воздух пахнет, а здесь вонища да грязь, а еще сестрицы кричат: «не делайте грязи, навоняли!» А уж надо бы больше да некуда. Ну, так мы торговали, торговали, большая компании стала и плохо вышло: раз они у нас все забрали: и деньги, и одежду, и валенки. Мы проснулись и нет ничего и сами они убегли. Пошли мы на пункт, холодно, есть хочется, а там нас прогнали, знают уже. Ну, мы залегли в приемный покой и там нас забрали в Покровский. Мы посидим до тепла, а там поедем на Кубань. Дали бы нам хлеба, луку и селедки на две недели, да одежду, — мы бы и теперь поехали, а там в самый раз станем на работу: я за пастуха, а товарищ к какому хозяину.[1]

Е. Галайская.

Доклад старого Московского кота

Доложу я вам, что до революции жить в Москве было прекрасно: каждый день получал я полфунта печенки, легко удавалось и сливочки слизнуть, а уж цыплят, рябчиков и котлет сколько я переел — и не сочтешь… Ведь я был барским котом, а мои хозяева только и делали, что ели и пили целый день. Но когда началась эта самая перетасовка, — одних вверх других вниз, крик, шум, стрельба — мои нервы не выдержали и я удрал в погреб… Спустя некоторое время, когда я вышел оттуда, я не узнал ленивой и хлебосольной Москвы: во первых мои хозяева целый день куда то бегали, что то делали и я не знаю когда они готовили, а, во вторых печенку ели они сами, да ее и не было. А о сливочках, котлетах и помину не было. Чем дальше, тем хуже и корочкой не поживишься, — хлеб стали печь из свеклы, из соломы, чуть ли и не с глиной, как я понял из разговоров, да и мыши все перевелись — я подозреваю, не идут ли они на колбасы… Ну, совсем нет мочи — и холодно, и голодно, и опасно: то и гляди самого с'едят. Решил я утопиться, — пошел на кухню к раковине — вода не идет. Побежал на улицу — под трамвай — трамваи не ходят. Ждал, ждал, — язык и хвост отморозил. Вдруг какая то женщина подымает меня и сажает под шубу, ну думаю, пропал, снесет на рынок и продаст в мясную — хоть мяса у меня только что в языке. Приходит, — выглядываю: «палата. № 10, 87 чел, детей из Поволжья». «Отцы родные! да меня здесь живьем с'едят, по полоску растащат». — подумал я. Ну, все равно погибать, пусть и я окажу свою помощь голодающим. Я закрыл глаза, чтоб не видеть собственных мучений. Протягиваются ко мне десятки детских ручонок, гладят, теребят… «Кисанька, милый, ты озяб, есть хочешь? Иди сюда, покушай». Не верю своим ушам, потягиваю носом, пахнет мясом. Открываю глаза — не снится ли мне это? Нет, на столе миска с супом, с молочной кашей, куски мяса, и никто не спешит есть — занялись мною, угощают, ласкают. Неужели они не голодны?… Наелся я, улегся под теплой печкой, укрыли меня одеялом и оставили в покое. Бегают, играют, поют, в новых платьях, в ботинках. Чудеса. Разбудил меня замечательно аппетитный запах свежей булки. Мне к носу принесла девочка кусочек прекрасного белого хлеба, но испортила его, намочив в противное сладкое какао. Откуда она взяла? Гляжу — все дети уплетают свежие пышки.

Нет, не хочу под трамвай, останусь в Покровском приемнике, — здесь жить отлично, — и тепло и кормят хорошо…

Видавший виды кот Рыжий.

Сын полей

Где же красота полей, где же дивная природа, к которой с детства я привык? Я все готов отдать, лишь бы видеть их перед собой. Здесь передо мной большие здания, передо мной стоит Москва. А где же лес, такой чудный, и где же милые поля? Скорей к ним хочу, но меня держат в Москве среди тесных, грязных зданий, среди толпы чужих людей. О милые поля! Скорей меня возьмите в свои об'ятья, ведь я сын ваш и к вам лечу.

Хулиган.

Призыв

Кто любит свободу, кто верит в науку
Все, как один, становитесь в строй!
Мы общим усильем поборем разруху
И счеты прикончим с тяжелой нуждой…
Дети! Вам двери широко раскрыты к науке.
Лишь было б желанье — все можно понять.
Лишь было б хотенье да крепкие руки —
То общим усильем все можно создать.
Россия Вас всех призывает
За правду бороться и крепко стоять…
Смелей же за дело! Красное солнце взошло и сияет.
Пора уж давно на работу вставать.

Кр-ц Патлей.

О побегах

Как это ни странно, ни печально, но приходится признать, что дети бегут из приемника, как и из других детских домов. Какая же причина этого? Плохие условия жизни в приемнике? Дети голодны? Педагоги с ними плохо обращаются? Ничуть не бывало! Кормят же хорошо и достаточно — во всяком случае дома или на воле они не будут сытее. На отношения воспитателей тоже не могут пожаловаться: многие относятся к детям с нежной любовью, ласкают их, отстаивают их интересы, вникают в их радости и огорчения, слово стараются дать им все, что ребенок может требовать дома. Правда, некоторые воспитатели относятся равнодушно, строго, официально, лишь бы отсидеть свои шесть часов, и не проявляют души в своих отношениях к детям, может быть даже брезгливо относятся к ним, но во всяком случае ни словом, ни делом их не обижают и дома, на воле, дети несравненно больше обижены и словом и пинком. Если предположить, что бегут самые скверные, испорченные ребята — и это не верно. В чем же дело?

По моим наблюдениям бегут самые ценные (если исключить явно преступные типы), самые предприимчивые, в ком силен дух возмущения, кто не дается втиснуть свою личность в узенькую коробочку распределителя. Это естественный протест, требование, чтобы считались с единицами, не обесцвечивали личность, не полагали границу уму и способностям. Например, какая нежная, трогательная дружба завязывается в дороге. Дети одинаковых наклонностей, потерявшие близких, пережившие перспективу голодной смерти, ужасы дороги. Дети, испытавшие утрату, страдания, с надломленной душой до того, что они ищут смерти, как избавленья. И вот эти дети, наконец, добрались до Москвы. Вся их энергия теперь направлена на устройство жизни по своему вкусу. Случайно, благодаря дороге, сделавшись друзьями, они вместе строят наивные планы на будущую совместную работу друг с другом… И вдруг друзей разлучают, увозят против желания, дают занятие неподходящее наклонностям.

Ребенок протестует, как умеет, выражая свой протест в капризах, грубости. И, наконец, бежит. Он предпочитает голодное, полное опасностей существование нравственной неволе. Вот, например, два мальчика. Они третий раз попадают в Покровский распределитель. Они были в Лефортове, были в детском доме на Мясницкой ул., убежали, голодали, взяты на вокзале, отосланы в детский дом и оттуда отправлены обратно

сюда, в распределитель, как невозможные. А вся суть в том, что они ненавидят город, любят природу. Как они понимают красоты природы, как умеют обрисовать их, выразить простым безыскусственным языком! Мальчик рвется в деревню, к земле, называет себя «Сыном полей». Его давят высокие, грозные здания города, насильно его держат в городе чужие люди. И вот он бежит от них, бежит, чтобы вместе со своим другом пробраться в Ташкент, где находится брат одного из них, бегут, чтобы там работать.

Если бы детей устраивали, сообразуясь с их наклонностями и способностями, побегов не было бы. От добра добра не ищут (и с места на место не рыщут)! Эти беглецы и хулиганы, быть может, дали бы самых деятельных и полезных граждан…

Главное зло всех приютов и временных общежитий — отсутствие занятий, отсутствие настоящего труда. Здесь легче всего наблюдать ребенка, он всесторонне проявляет свою личность. Представленные, в сущности, самим себе, или «занимаемые» кисло-сладенькими рассказами о хороших детках, да плетеньями из бумажек, дети улицы, — дети практичные, умеющие ценить действительные ценности, — относятся презрительно к этим плетеньям и этим рассказам, совершенно справедливо не находя в них для себя ни пользы, ни удовольствия. Они скучают, шалят и, наконец, изверившись в уменья сестриц понять их, — бегут и устраиваются сами.

Наблюдатель.

Как утолить в Москве умственный голод детей Поволжья?

Москва питает тело голодающих детей. И питает так хорошо, что у них быстро начинают давать себя знать и умственные запросы. Эти запросы выявляются в том, что дети начинают просить их определить в определенный тип школы, или в специальную мастерскую. Или же просто начинают дебоширить, проявляя избыток приобретенной от хорошего питания энергии в разных шалостях, в так наз. «проступках». Накопившейся умственной и физической энергии нужно дать приложение, направить ее в дело, правильное русло.

Школы нормального типа для детей, которые сегодня в Москве, а через месяц будут где нибудь в Богородске, Туле или еще где в деревне, — нельзя устроить. Однако и этот месяц должен быть чем нибудь наполнен. Чем же его наполнить?

Полагаю, прибывающим детям надо просто напросто *показать Москву*. Для этого не требуется почти никакой траты, кроме одного автобуса или трамвая. Затрата относительно говоря такая ничтожная, что о ней и говорить не стоило бы.

Много приезжает в Москву экскурсий из разных городов. И эти экскурсии в какие нибудь 3–4 дня сумеют столько посетить мест замечательных в разных отношениях, что иная Московская школа, находясь все время здесь, не удосужится сделать и течение целого учебного года. А почему? Для Московской школы всегда открыта возможность осмотреть и любой музей и любую картинную галлерею. И потому всякое посещение откладывается на завтра, на будущее время, оказывается большим соблазном. Провинциальная экскурсия не может надеяться на «потом». Она прежде всего определяет свою цель, сообразно цели намечает места для осмотра и действует сейчас же, забывая об отдыхе («вот потом!») и стремится взять от Москвы все, что дается.

Голодные дети — такие же экскурсанты. Они не только в массе не видели Москвы, но даже не видели и губернского города. Для них все ново и все интересно. Но с ними нет руководителя. Еще русского педагога с ними можно встретить, который видел сам и может показать им столицу. Но уже о татарском, чувашском педагоге с места, — речи быть не может. Значит, задача интересующихся судьбой голодных детей состоит в том, чтобы взять на себя инициативу. Только инициативу. Остальное все пойдет. В течение месяца можно не только провести ряд экскурсий, но и провести ряд предварительных

бесед по каждой из них.

С чего начать? Несомненно, с картинной галлереи, т. к. это начало будет более всего соответствовать психике детей. В Третьяковской галлерее заключена вся жизнь, весь быт Русского народа. Везде ребенок, в каждом зале найдет для себя что нибудь родное и понятное. А дальше покажет опыт, что и когда осмотреть.

Если мы сделаем арифметический подсчет, то полагаю в течение месяца вполне можно провести 10 экскурсий с предварительными беседами. И если приравнять по силе впечатления одну экскурсию к десяти урокам в классе, то какая же должна получиться интенсивная и продуктивная работа! Сто учебных часов! Да ведь это целая школа. Не считая бесед. Трудно забыть, как какой нибудь Вахнеев, бич Покровского распределителя, упрашивал меня взять его со мной в одну экскурсию. Или, кстати сказать, как он, все рвавший, ломавший, в самом аккуратном виде представил мне данную ему с надлежащим пояснением книгу. Так сильны у них, даже дефективных детей, умственные запросы. Форменный духовный голод!

Не думаю, чтобы я оказался один с предлагаемым методом удовлетворения умственных интересов детей Поволжья. Мне удалось провести, как подготовку к задуманной работе ряд методических экскурсий для педагогов П. приемника. И к чести своих товарищей по службе должен сказать, что методические экскурсии были ими приняты как нечто совершенно обязательное.

Тот же самый метод, но уже регулярного осмотра Третьяковской картинной галлереи, был мною предложен педагогическому совету Курсов «1-ое Мая», как лучший метод преподавания на курсах русской истории, когда под руками у меня не было решительно никаких учебных пособий, которыми можно было бы пользоваться на уроках в классе. Экскурсионный метод, как нормальный метод преподавания истории при отсутствии пособий, был приветствован всем педагогическим советом Общеобразовательных Курсов при клубе «1-ое Мая». Московские картинные галлереи, и прежде всего Третьяковская, были согласно сделанному предложению признаны вполне удобным средством заменить все отсутствующие учебные пособия по истории.

И немедленно же начались экскурсии, — сначала исторические, в Третьяковскую галлерею и Исторический музей, на крестьянскую выставку. А теперь[2] и все занятия превратились на курсах в постоянные регулярные экскурсии.

Если мы привыкли при старом порядке конкретизировать Москву в виде полной женщины с пирогами да с блинами, то теперь нужно Москву запечатлеть в памяти ея маленьких гостей с Волги уже в виде художественного, исторического и научного центра.

Москва позаботилась их накормить хлебом, которого у самой не так много. Пусть же накормит их сознание и таким московским хлебом, которого в Москве очень много и которого им нигде потом не встретить, как только в одной Москве.

В. Черкасов.

Памяти Погорелова

Вчера я видела на улице грязной,
Блузою рваной прикрыт,
Весь перепачкан, походкой развязной
Наш Погорелов спешит…
  Испорченный рано, плут и охотник до драк,
  Там средь пролеток, в обуви рваной
  Камнем гонял он собак…
Лишенный заботы и ласки,
Растет он на полной свободе.
Бедный терновый цветок!
  Сердце мое замирает в тревоге:
  Что же от жизни он ждет?
  Голодный, по темной дороге
  Он беззащитный идет…
Что же ему годы весны принесут?
Жажду разврата и жажду наживы?
Или терпенье и труд?
  В бурном порыве печали всевластной,
  В горькой душевной борьбе,
  Бедного мальчика к сердцу прижать я хотела…
  Всю нежность, всю ласку отдала б ему…
Диким терновником я уродилась,
Вскормлена трудной борьбой.
С горем, нуждой не мирилась,
Мальчик! Мы братья с тобой!

Мыслитель.

Шарада

№ 3.

Первое видим на улице, второе — на лице и очень его портит, третье — необходимо для пасхи, а целое — пишут на заборах.

Задачи

а) Одни кирпич весит 1 ф. и $^1/_2$ кирпича. Сколько весит один кирпич?

б) Три зайца, сколько будет ушей?

в) Сколько будет, если разделить 50 на половину?

Буревестники

Чик, чик, чик, чик…

Часы у соседей бьют восемь.

Фу — ты, Господи! — восклицает Шурка, торопливо, в уме вычисляя время, оставшееся в ея распоряжении до ухода на службу.

Полтора часа! Ну, что я могу сделать за это время? Картошка не чищена, тесто в кадке, формы, самовар…

Поспешно бежит раздражительная мысль в лохматой голове, руки с засученными рукавами кофты решительно двигают ухватом в печи, зубы злобно кусают губы, а глаза с ненавистью следят за пламенем в печке, выбрасывающим дым часто по принадлежности — в трубу, часто мимо в комнату.

Сегодня она топит печь потому, что ей так захотелось. Братья спят после дежурства, мать не пришла еще со службы с ночного дежурства. А Шурка встала рано, ну и пришла фантазия истопить печь.

Неловкими, размашистыми шагами, стараясь быть быстрой, ходит она по комнате от предмета к предмету. Суп засыплен, формы для хлебов готовы, самовар ждет огня. Шурка щиплет ножом суковатую лучину и бранится, недовольная ея неподатливостью.

Обыкновенно Шурка очень спокойная, флегматичная особа. Она любит во всем порядок. В мыслях, в действиях. И спокойно делает свою работу.

Задумывается над философскими вопросами. Негодует в душе на нестерпимую ворчливость матери и когда прорвется, то до конца выльет все накипевшее негодование.

А прорывается она редко. Надо, значит, представить размер образа прорывания ея негодования.

Но сейчас Шурка торопится, а потому и не может удержаться от внушительных поощрений по адресу лучинки.

У, окаянная твоя сила! Чтоб ты… Чтоб тебе… Тьфу.

Вертя всеми концами полено лучинки, она никак не может притти к более вескому пожеланию ей, благодаря которому лучинка бросила бы свое сопротивление ножу.

— Подайте милостынку… поесть… Два дня… Дальнейшее покрывается окриком:

— Чего еще надо, ну?

Шурка энергично обертывается на голос, робко слышащийся из щелки приотворенной в корридор двери.

— Ну — повторяет она, хотя знает уверенно, что это

нищий, — голодающий. Их сегодня уже три приходило, пока она встала.

Берет из чугунки несколько теплых еще, вареных картошек и подходит в двери.

— На, вот. — Шурка смотрит, как маленькая фигурка в лохмотьях, без шапки, робко берет подаяние и благодарит:

— Спасибо, мамо.

Ев делается немножко смешно. «Мамо»! Он назвал ее «Мамо».

«Татарчонок», — решает она. И почему-то ей хочется сделать ему что-нибудь еще.

Шурка возвращается к столу, отрезает хлеба и спешит сунуть ему в холодную ручонку.

— Чего-же ты без шапки то? — спрашивает.

— Потерял.

— Так ведь холодно, небось, — соображает она вслух.

Потом приходит к какому то выводу, возвращается в махонькую комнатушку за кухней, роется некоторое время в стоящих там картонках и выносит старую, летнюю детскую фуражку. Нагоняет татарчонка уже в конце корридора, надевает фуражку ему на голову и решает:

— Все же теплее будет.

Раздумчивой походкой идет к самовару, молча запихивает в нее горящую лучину и начинает приводить себя в порядок.

Все сделано. Шурка ждет мать, чтобы при ней напиться чаю и уйти.

И все молчит. Пододвинувшиеся к носу брови и надутые губы показывают, что Шурка думает и о том, что хлеба делается мало, и о том, что где-то его совсем нет, что там люди умирают с голоду, что там едят людей…

Матери что-то не нравится в утренней работе Шурки. Она начинает перечислять все недостатки Шуркиной натуры вообще и, как полный контраст к ее особе, указывает на какую-то Варю, дочь Зинаиды Васильевны.

Шурка упорно молчит, следя злыми глазами за ртом матери, изредка вставляя короткую реплику: — Знаю. Ну и что-же?

За тем следует удивление матери и красноречивый поток жалких слов о непочтительности нынешних дочерей к родителям. И так далее.

Шурке надоело. Она припудривает перед зеркалом свой всегда лоснящийся нос, надевает пальто и уходит.

— Подайте, барышня миленькая, на хлеб, — шепчет над ее ухом нищий.

Почти свирепо бросает на него взгляд Шурка и летит мимо.

Потом раскаяние овладевает ею. Ведь в сущности она очень

добрая, но безвольная и сумасбродная. Но она и сама не всегда сыта и потому сердце ее отзывчиво. Раскаяние гложет сердце. В конце концов скудный завтрак ее остается в руке какой то девчурки, поднявшей на нее свои голодной тоской смотрящие глаза.

А в спину ей летят волнующие слова:

— Подайте хлебца…

Кириллова, к-тка «1 мая».

Весна

Весна пришла, природа оживилась,
Ковром зеленым степь покрылась.
Ярче солнце заблистало,
И на душа отрадней стало.
Жаворонок в небе вьется,
И песнь его рекою льется —
Хвала природе в ней поется,
И сердце радостней бьется.

Краснопевцев, к-т «1 мая».

Доброе лицо и злое сердце

Дружными усилиями честных и сознательных Царь-голод свергается с престола. Осталось еще немного. Нужно довести дело до конца, прогнать голод окончательно и вскопать почву для новых и красивых цветов жизни. Сознательные и честные так сделают.

А красивых цветов много. Их много погибло, больше осталось. О погибших хочу рассказать вам, чтоб заклеймить позором добрые лица и черствые сердца многих жителей города, проходивших мимо.

В одном большом городе жили две подруги, Маша и Зина. Есть нечего. Маша, желтая, худая, лежит. Она не может вставать от мук голода. В комнате тихо, страшно тихо.

«Зина!» — дрожащим голосом позвала Маша. Зина вскочила и подошла к ней.

— Бедная, родная Машечка, неужели я могу ее потерять и останусь одна в громадном городе среди чужих неприветливых людей?

«Зина, милая!» — Маша не договорила, горячие слезы закапали из глаз.

— Не плачь, не надо. Все устроится — успокаивала Зина, — пойду просить и нам подадут помощи. Мы будем жить хорошо. Ведь вот мы готовы всякому помочь. Неужели нам не помогут?

Зина говорила, сама не сознавая что, и дрожала всем телом. А Маша горько плакала, не желая допускать свою подругу итти просить на улицу. Но она была очень слаба.

И Зина пошла просить…

Вот она на улице. Солнце жарко палит. Душно. Хочется спать. Голова тяжелеет. Прошла женщина, очень красивая, вся в белом, с добрым белым лицом и яркими губами.

Зина опомнилась, подошла к ней и попросила на хлеб.

Та на минуту отвернулась от покупаемых балыков и белого хлеба, и изумленным, как будто резким голосом отвечает: «Много вас!»

Зина не отстает, сама не веря своим ушам и подавленная страданьями голода.

«Отстань, — говорю тебе русским языком!» — еще неприятнее звучит голос женщины.

Больше просить Зина не стала. Мимо нее проходили женщины и мужчины, такие нарядные, сытые…

Неужели все такие плохие? Нет, пойду плакать и мне дадут.

Но никто не дал, никто не помог…

Маша и Зина умерли.

«1 мая» приг. группы. Лютик.

Фасоль

В детский больнице при Введенском приемнике распространился интересный слух, что с завтрашнего для будут давать «американскую» кашу, булочки и какао. В тифозном отделении, где в то время было большинство выздоравливающих детей, это сообщение приняло сенсационный характер. Только разговору и было, что о завтрашней каше. Молодые организмы, на родине в Поволжье питавшиеся глиной, корой с деревьев, да человеческим мясом, а здесь перенесшие кроме того и голодный тиф, очень настойчиво требовали «усиленного питания». И где только носы учуяли какое нибудь «питание», сейчас же все внимание устремлялось вслед за носом. Умственных интересов не было. Или, пожалуй, они и были, да не было в больнице книг, какие могли бы читать дети.

— Вот хорошо! Завтра я с‘ем две каши! — заявляет Ваня Бураков, вообще любитель покушать. — А то все голод да голод.

— Это еще как взглянется, какие каши дадутся, — заявляет скептик и гастроном.

— А что?

— Дадут тебе рисовую кашу и одной не с‘ешь! А на две и смотреть не будешь.

— Это почему? Все с‘ем!

— С‘ела свинья борова, да подавилась. Хорошо рисовая каша поедается, да очень приедается. А нам все ведь рис да рис.

— Что ты говоришь! Больным нельзя иначе, потому слабая порция.

— А как же доктор говорит, что все можно вам есть? По мне дали бы пшенной, вместо рисовой, куда было бы лучше.

Так переговаривались между собою разные койки тифозного отделения и строили предположении на счет того, какую будут давать кашу, вместо надоевшей всем рисовой.

Наступил столь ожидаемый другой день. Время завтрака. В больнице вообще, а в сыпном отделении у выздоравливающих в особенности, время измеряется не часами, которые висели в корридоре и ходили как архиерейские галоши, а завтраком, обедом и ужином.

Головки то и дело поворачиваются к двери и разочарованно опускаются глазки, если никого там не видно.

Наконец, раздаются знакомые шаги и лязганье металлической посуды. В ответ начинают оживленно биться у детей сердца. Входит в палату дежурная няня и не смотря ни на кого, с самым равнодушным видом начинает раздавать завтрак.

На физиономиях детей, вместо чтения книг, занявшихся в данный момент определением по недовольно равнодушной физиономии няни, каково содержания завтрак, можно было очень легко прочитать разочарование: опять несносная рисовая каша!

Что делать! На безрыбье и рак — рыба и щука карась! Давай хоть и то, что есть, чего бы только не с'есть, чем бы только не наполнить желудок.

Няня подает миску: о радость! что то темнеется в ней. Значит не проклятый рис!

Пробуют дети — фасоль!

Вот так удружила кухня! Удрученное настроение сразу меняется, палата оживает и трудовые процессы в виде работы ложкой и плошкой принимают очень активный характер. Вся работа начинает выполняться с такой энергией и с таким интересом, что хоть куда. Миска выскабливается ложкой, полируется пальцем и шлифуется языком. Без отдышки, без передышки. Окончание работы выражается сильным вздохом, и не лишенным зависти взором к тому, кто еще не успел получить. Няня так медленно разносит на этот раз завтрак, что пока несет одному, сосед его уже все очистил и облизывает губы.

Словом фасоль лучше всяких камфарных вспрыскиваний и физиологических вливаний оживила публику и подняли деятельность сердца. Нельзя же, в самом деле, быть равнодушным к фасоли! И только одна няня равнодушна: раздает себе кашу и ни на кого не взглянет, не оторвет глаз от посуды, как будто бы ей совсем не интересно, что нынче дали не рису, а фасоли.

Такое оскорбительное отношение к фасоли быстро было подмечено, тем более, что аппетит и желание у всех были диаметрально противоположны к количеству полученной каши. Молодые головы наблюдательны, но гипотезы для определения равнодушия к фасоли создать еще не могли. А что то забродило в головах, чему помогал и аппетит и голод и все другое.

Несет няня порцию фасоли Ване Батракову.

Аппетит у Вани после тифа такой, что дай ему вместо чашки целое ведро, в котором приносят кашу для больницы, он и тогда не спасовал бы ни по завтраку, ни по обеду.

Ваня взял чашку и стал не спеша (ведь некуда спешить, потому что уже вся фасоль роздана и ему попала после всех, хотя он и лежал у самой двери) прилаживаться, как бы поудобнее устроиться на постели, чтобы позавтракать поаппетитней.

В это время вдруг отворяется дверь и в палату является женщина-врач, вылечившая всех этих сыпняков. Она намерена была делать обход.

Идет прямо к Ване Батракову, который был ближе всех.

— Ну, Ваня, как твои деда? Завтракать собираешься? — улыбается доктор.

Ваня, польщенный не казенным обращением доктора, отвечает тоже весело:

— Дела хорошо! Нынче нам дали фасоли, — сообщает как интересную новость доктору Ваня.

Зинченко ткнула нос в миску к Ване, которую тот поставил из уважения к ней на столик и вдруг строго обратилась к няне:

— Поля! Почему вы ему мало положили фасоли? (Аппетит Вани она хорошо знала). Ведь не все из них ровно едят!

Няня отрезали:

— Я положила столько, сколько всем.

— Ну, да! — возразила Зинченко. — Вы стали всем прибавлять фасоли после того, как я сказала вам прибавить.

На это няня пожала плечами и ничего доктору не ответила, и только загремела быстро посудой.

А у детей на физиономии получилось такое удовлетворение, какое бывает у ученого, нашедшего об'яснение непонятному для него явлению. Детские взгляды и глазки ясно говорили по адресу Поли:

— Что!? Влетело?! По усам текло, да мало в рот попало.

Поля быстро собрала миски и быстрым шагом ушла из палаты.

А Зинченко стала продолжать обход.

Гипотеза создалась. Дети почувствовали, что с фасолью что то неладно.

Шесть с половиной часов вечера. По больничному счету — время ужина. Зинченко уже сделала второй, вечерний, обход всех палат и ушла. Медицинской сестры на этот раз в тифозной палате выздоравливающих тоже не случилось. Это, как раз, был ее выходной день. Сестра из чужой палаты пришла, измерила всем температуру и тоже ушла. В палате осталась одна дежурная няня Поля. У ней в руках сосредоточилась вся полнота власти по палате и таким образом вся каша. Но и она все вертелась что то и корридоре, с другими нянями, которые собрались с ведрами итти в кухню за ужином.

Настроение в палате приподнялось.

— Сейчас принесут ужин: няни взяли ведра, — выражает один вслух мысли всей палаты.

— И дадут нам две каши: русскую и американскую, — резюмирует непроизнесенные речи Петя Бураков.

— А из чего другая каша? — осведомляется тоненьким голоском восьмилетний Вася Буфетчиков.

— Всегда кашу на целый день варят, — авторитетно поясняет

ему и другим Ваня Батраков. (Ваня в приемнике уже давно и порядки там все знает): каша будет из фасоли, что давеча была.

— Вот бы хорошо! — слышится умиленный вздох еще с одной койки.

— Фасоль скусная! скусней рису, — слышится с другой.

— Кароши фасоль, очин кароши, — подтверждает татарчонок Шокир.

— Я тоже очень люблю фасоль.

Таким образом дети решили, что в ужине второй кашей после противной рисовой будет желанная фасоль.

И началась везде похвала фасоли. И стали ребятишки ждать ужина, как евреи ждали манны небесной.

Когда терпение стало уже истощаться (ужин что-то замедлился!), нетерпение стало доходить до высшей точки, до замирания сердца и остановки пульса, а вкусовые ощущении превращаться в огромные реки в полости рта, является Поля с ужином.

Первое блюдо, под названием лашит или брандахлыста, помещавшееся на дно каждой миски, было извлечено оттуда и уничтожено меньше, чем во мгновенно ока.

При появлении второго блюда все физиономии вытянулись в виде вопросительных знаков и все носы сконцентрировались около няни. Оказалось, что принесена обычная и по величине и по температуре порция второго блюда — ложка рисовой каши.

Молодые аппетиты тяжело вздохнули, но решив, что продолжение будет, моментально уничтожили и рисовую кашу. И ждут фасоли, как десерта, как третьего блюда.

Третий раз появляется няня. И снова носы стали к ней радиусами. А на лицах разливалась блаженная улыбка.

Но вместо столь желанного, аппетитного, произведшего столько волнений в области сердца блюда, появилась на третье блюдо во второй раз — та же самая проклятая рисовая каша!

Дети разочарованно и молча приняли и с'ели и вторую порцию риса (голод не тетка!).

Дежурная няня поспешно собрала посуду и выкатилась из палаты.

Вдруг вбегает в палату маленький Бобчинский, Миша Иванов, вышедший из палаты по своим надобностям.

— А няни едят фасоль! — сообщает он свежее вечернее известие.

— Ну?!

— Врешь, Мишка! Откуда же они ее взяли? Фасоли большим не дают, — возражают Иванову.

— Вот! Не веришь! Так пойди сам посмотри. И много у них

фасоли! — настаивает на правильности своего сообщения Иванов.

— Так значит эта фасоль наша.

И пошли опять прения и дебаты о фасоли.

— А почему же тогда фасоль нам не попала?

— А я знаю! — заявляет Петя.

— Что еще ты знаешь? — скептически и с оттенком недовольства говорят ему.

— А то! Они за место фасоли дали еще другой раз рисовой каши. Нам дали рисовой, а себе взяли фасоль.

— Ну, что ты городишь! Так, пожалуй, они тебе вместо «слабой» порции дадут общую.

— А что ж ты думаешь?! Может и дадут! Ведь говорят, что няни носят себе котелки белой каши, когда у всех у них пшенная. Откуда они ее берут?

— А куда они ее девают?

— Продают! куда девают!

И пошли критика.

— А я слышал, ребята рассказывали, что няни носят домой белый хлеб. Много! Фунта, скажем, по четыре, — вмешался в разговор еще один Добчинский.

— Ну, на счет белого хлеба то еще кто-е знает, — заметил Батраков. — Няни себе вырезает то-же как и нам. А вот, ребята, что. Откуда у них взялась рисовая каша, что дали нам на второй раз, — ну, вместо, скажем, фасоли. Вот это я не пойму.

— Да это очень просто, — решили не столь глубокомысленные философы: положили половину, чтоб нас обмануть, а потом дали другую половину.

— Нет, товарищи, — возразил им Батраков, более всех по своему аппетиту заинтересованный принципиально в этом деле. — Тут дело не чисто, да и не так просто. Это правильно, что они нас обманули, но как? Ведь рису первый раз дали столько, сколько и всегда нам дают, порцию одинаковую. Откуда же другая порция? Если бы на первой они не додали…

— Братцы! — неожиданно раздалось из дальнего угла, от окна.

Там лежал остряк, Митя Боровой, тоже бывший долго в приемнике, потому что ему хотелось поступить в мастерскую, а таковой не находилось. — Товарищи! — повторил он.

Все обернулись к нему и заранее на лицах злой огонек от сознания своей бесправности стал сменяться веселым.

— Что тебе?

— Да вот не сочту: одна да одна сколько будет?

— Ну, будет два.

— Два. А у меня выходит один.

— Как же так? — смеются дети.

— Сложите одну порцию рисовой каши, да еще одну порцию, что скажем, например, за место фасоли. Сколько получится? У меня выходит один уполовник. Такую порцию мы получали здоровые, когда не няни, а мы сами ходили на кухню за ужином.

— Та, та, та, та! Вот где каша то зарыта!

— А я видал на кухне, что там полбака остается после ужина белой каши, — опять вмешался в разговор Иванов.

— Куда же она девается? — спрашивает его кто-то.

— Неизвестно, куда девается.

— Нынче за ужином попала тебе в рот, — засмеялся тихий Ваня Петров.

— Зато фасоль неизвестно куда девалась, — с'язвил Ваня Батраков.

— Нет, ребята — со вздохом заключил он, и в этом его вздохе почувствовалось все бесправие голодного ребенка, попавшего в руки чужих людей, не желающих и не умеющих войти в его душу: — что уж нам толковать. Слава Богу, что от голоду то не дохнем. Давайте ка лучше спать.

Дети замолчали и все скоро заснули.

Заснула и дежурная няня.

В. Трунов.

Холера

Холерный барак. В бараке лежит несколько женщин, отнюдь не из голодающих губерний (холерные вибрионы не любят голодных. Они предпочитают сытых, кто, как, в былине «Идолище Поганое», ежедневно по семи пудов мяса кушает, по семи ведер сырой воды выпивает. И селедкой закусывают).

Стон слышится из палаты. Что такое? Умирает?

— Да, — равнодушно отвечает няня.

— Когда привезли?

— Да вот, часа полтора назад. Из приемного покоя все умирать сюда приносят. Уж добро бы хороша была. А то и часа не проживет. Уж кровью пошла. Вот погляди.

Фельдшер равнодушно идет к столу, берет учебник химии и отправляется в дежурную комнату. Он студент, и ему завтра нужно держать экзамен. А потому и слышится из-за стены в промежуток между оханьем и стонами, как в «Вий» Гоголя:

Бу, бу, бу, бу, бу.

Вдруг — какое то движение у входной двери.

Няня догадывается:

— Ну, еще принесли! — с досадой говорит она и идет встречать.

Действительно, на носилках принесли еще одного больного.

— Куда класть? — спрашивают санитарки, остановившиеся с носилками в корридоре.

Им в ответ раздается:

— Бу, бу, бу, бу, бу.

Няня осведомляется: кто?

— Мальчишка какой то.

— Ну, мальчишку, значит, неси вот сюда, будет мужская палата. Уж там лежит один.

Выкладывают на койку. Уходят.

Содержимое оказывается на столько тощим, на столько сухим, что прямо годится на живой скелет. Руки как палки, одни кости. Суставы кажутся возвышениями вершины Монблана. Так они выделяются на общей ровной плоскости. Ребра все можно считать из другой комнаты. Глаза, как две ямы.

Но живой скелет не стонет и ничего не говорит.

Няня быстро отправляется к ванной и пускает воду.

Подходит к ребенку:

— Сынок! Иди в ванную! Дойдешь? Иль тебя донести?

Скелет неожиданно отвечает:

— Сам дойду.

И в самом деле, скелет поднимается и идет. Но после ванной не выдержал.

У него закружилась голова и няня его несет на руках, схватив в охапку.

— У, какой же ты легенький то! Тебе сколько лет то?

— Тринадцать, — протягивает в ответ мальчик. И в его голосе слышится уверенность взрослого человека, видавшего виды.

Жутко делается от этого тона ребенка.

Ушла няня, справив что нужно. Но холера дает себя знать.

В палате делается невыносимый запах.

Его сосед, уже достаточно поболевший, перенесший кряду и сыпной тиф и острый период азиатской холеры, не может выносить холерного запаха.

— Няня! Няня!

— Что вам?

Сосед указывает на судно.

Няня смотрит и говорит:

— Да там ничего нет!

— Да ведь запах то идет, — возражает выздоравливающий больной.

Няня жмет плечами.

— Что же я сделаю?! Холерный запах.

Больной тогда уже ей категорически заявляет:

— Возьмите раствор, какой у вас есть и сполосните, или же дайте крышку.

Няня идет и делает, что он посоветовал. Запах уничтожается. А из-за стенки раздается: Бу, бу, бу!

По уходе няни, живой скелет обращается:

— Дяденька!

— Что тебе?

— Дай мне спичку.

— На что тебе?

— Прикурить, — тянет мальчик.

— Да разве ты куришь?

— Смерть охота. Папироска есть, а спички нет.

Взрослый начинает его урезонивать.

— Да, что ты? Разве можно тебе курить! Тебе сейчас ничего нельзя, даже есть.

Мальчик возражает:

— А как же мне в другой больнице (называет больницу) давали яички есть и папирос принесли?

— Как, папирос принесли, кто-же? няня?

— Нет, нянька не пошла. А пришла к ней сестра с воли. Я дал ей три миллиона, чтоб она купила молока, яблок и папирос.

— Ну и что же она? купила?

— Пошла. Но другой день принесла мне три папироски.

— А яблок? И молоко?

— Нет, только три папироски. И сдачи не дала.

Сосед тяжело вздыхает в ответ и ничего не говорит. А мальчик продолжает:

— Няньки плохие там, никогда не ходят.

— А много у тебя было денег?

— Много. Три миллиона.

— Да где же ты столько взял? — удивляется сосед.

— Подают на вокзале.

В это время входит фельдшер. Подходит к мальчику с скорбным листом в руках и спрашивает:

— Как тебя зовут? Фамилия?

— Иван Листов, 13 лет.

— Откуда?

— Из Казанской губернии.

— Как сюда попал?

— Приехал с братом.

— Где твой брат?

— Помер. Здоровый был.

— О чего помер?

— От белой каши.

— От какой белой каши?

— Да там сестры давали на вокзале белую кашу. Он ел и помер. А я не ел и остался. А здоров он был.

— Ну, нет, тут не каша.

— Каша.

— Откуда привезли сюда?

— Из Н приемника.

— А туда откуда попал?

— Из другой больницы. Я в трех больницах был.

Фельдшер уходит.

Время обеда, час дня.

Няня подает и выздоравливающему и мальчику горячее — суп из пшена.

Мальчик ест.

Потом дается пшенная каша. И это ест.

Сосед смотрит и недоумевает, как можно это давать во время холеры.

После обеда сменяется бригада. Вступают на дежурство другой фельдшер и другая няня.

Этот фельдшер — тоже студент и тоже готовится к экзамену, но не по методу зубристики, в по лабораторному. Он первым

долгом осведомляется, какие и сколько больных в холерном бараке и какие им сделаны назначения доктором.

Входит в мужскую палату и дает висмут и салоль выздоравливающему.

Потом закуривает папиросу, подходит к мальчику, пробует его пульс.

Справляется в истории болезни: «Иван Листов. Холерные вибрионы найдены». Подумал он и тоже дает ему какое то лекарство.

Затем, убедившись, что в холерном бараке все спокойно, садится у стола здесь же рядом с палатой и начинает долбить химические формулы.

Опять носилки. Фельдшер быстро встает, идет на встречу. И вместе с няней, молоденькой девушкой, укладывают больного.

Больной оказался с железной дороги машинистом.

Цвет лица землистый. На лице фельдшера опытный глаз читает: жить от силы сутки. Делает ему камфарное впрыскивание.

— Когда заболел?

— Утром.

— Родные где?

— В Тамбовской губернии. Спасского уезда.

Записывает.

Пять часов вечера. Ужин. На ужин дается белая булка и рисовая американская каша.

Новоприбывший в тяжелом состоянии и не может есть. Мальчик тоже не ест. Сосед обращается к нему:

— Ваня, ты что же не ешь? Не хочешь?

— Хочу.

— Ну, так ешь!

— Мне бы яичка!

— Да где же тебе взять яички? Да потом и нельзя тебе есть яйца, пока доктор не позволит. Ешь кашу.

— Не могу. Она мне опротивела. Брат на вокзале умер.

— Да что ты, брат? То на вокзале. А это каша хорошая. Ну булку ешь!

— Мне бы сухариков.

— Вот это дело. Тебе и следует иссушить французскую булочку на сухари. Попроси няню.

Зовут няню.

— Няня, посуши мне сухари.

— Где же я тебе посушу? В кухне не позволяют, а тут нельзя.

Ребенок вздыхает, и няня уходит.

Ночь. Ваня то и дело спускается с постели. Рабочий охает и стонет. Сосед Вани не знает, как заснуть.

Утро. Няня разносит чай с конфектами и дает каждому по пол фунту черного хлеба. Дает и Ване. Ваня берет и сейчас же начинает его есть. Его сосед приходит в ужас.

— Ваня!

— Что?

— Не ешь черного хлеба. Ведь у тебя сильный понос.

— А как же дали?

— Дали потому что дали. Может быть по ошибке, — врет ему сосед. Он отлично знает по себе, что дали не по ошибке, а потому, что так у них положено. Ваня слушается и перестал есть.

Одиннадцать часов. Вдруг раскрываются обе половинки дверей и в палату торжественно вносится докторская конторка. На ней докторская слуховая трубка и смоченное в сулемовом растворе полотенце.

Фельдшер откуда то взял колпак и очень напоминает в нем гоголевского сумасшедшего. Идет и сам ухмыляется своему виду.

Входит доктор. Тоже в колпаке, но с видом, напоминающим уже делового человека, каждая минута у которого на счету. Ликуй человечество, и берегись холера! Доктор быстро подходит к конторке, берет перо и смотрит историю болезни Ваниного соседа. Тот спрашивает:

— Как, доктор, скоро меня выпишите? Ведь я уже здоров.

Доктор, стараясь тоном показать, что все это ерунда, заявляет:

— Да ведь опять нашли у вас этих господ (холерных вибрионов).

— Доктор! А чего мне есть нельзя?

— Воздержитесь от мяса: мясо способствует их размножению.

— А еще?

— Черного хлеба тоже нельзя.

Сосед искоса взглядывает на столик к Ване, где лежит огрызок черного хлеба.

Студент-фельдшер что-то говорит доктору.

Доктор быстро идет к Ване, берет его за руку и моментально возвращается на свое место к конторке, первым делом вытирает о полотенце руки и что то записывает.

Затем, посмотрев на машиниста, тоже что-то записывает.

Трубка на этот раз оказалась не нужна.

Няня, как будто священнодействуя, приподнимает конторку и тоже с озабоченным видом, как у доктора, несет ее в женскую палату.

Восемь человек больных осматриваются быстрей, чем работает сама холера. Через пять минут доктор уже поспешно и озабоченно идет к выходной двери, тщательно вымывает там

руки, сухо на сухо вытирает их полотенцем и как метеор исчезает.

После его ухода фельдшер с насмешкой срывает свой колпак и достает из шкапа, кому прописано портвейн.

На следующее утро Ване опять дается черным хлеб, а за обедом мясной суп и на второе порция мяса.

Метеор опять является и быстро исчезает. Ни Ваню, ни рабочего уже не смотрит.

К вечеру машинист умирает. По больничному персоналу можно было сразу определить, кто обречен на смерть.

На место одного приносят и кладут туда же другого. Оказывается тоже служащий М.-К. жел. дороги, татарин. Ему дают лекарство.

А Ваня все лежит и тяжко вздыхает. Около него лежит его булочка, которую никто ему не посушил на сухарики. А доктор даже не заметил. Чуть не ежеминутно сам сходит с постели и оправляется.

Дежурные фельдшера и няни подойдут, посмотрят и отойдут.

Его сосед спросил однажды потихоньку:

— Ну как этот? И услышал в ответ:

— Скоро кончится.

Но один кончился, одна кончилась, поступившие гораздо после Вани.

А Ваня все лежал и лежал.

И вдруг вздумал, что не удобно ему обходиться в палате. Пошел в уборную. Благополучно дошел туда. И оттуда, хоть с трудом, но все таки возвратился без посторонней помощи.

Сосед вступился: Ваня не ходи в уборную. Разве тебе можно!

Ваня что то запротестовал. Но видно ему был определен доктором смертный приговор.

В одно время ему сделалось холодно.

— Няня, дай грелку!

— У нас только и есть одна грелка, и та сломалась.

Сосед думает: ну, холера! Ну, публика!

— Погоди, — догадалась няня: — я положу тебе бутылку к ногам с горячей водой.

Положила. Ваня успокоился.

Но видно ребенку очень было тяжело в больнице: ведь никого, решительно никого, кто бы к нему подошел с открытой душой. Нынче трудно понять его.

— Няня! — Зовет он няню. — Няня!

Няня идет.

— Что тебе, сынок?

Ваяя молчит и ничего не говорит, лежит с закрытыми глазами.

Отошла от него няня.

— Скоро помрет должно? — спрашивает его сосед.

— Сейчас должен кончиться, — отвечает няня.

— Опять слышится:

— Няня!

Няня подходят:

— Что тебе, родимый?

Ваня опять молчит. Бедняжке хотелось просто, чтобы она была с ним.

— Ну! вот! зовешь, а сам не знаешь зачем, — не поняла его няня. И ушла.

— Няня! Няня!

Няня легла на постель и не подошли.

Так промучился ребенок до самого утра.

Утром опять:

— Няня! Няня! — едва слышно говорит он. — Ня-нь-ка! Уу! — послышалось с его койки.

Что он переживал в это время, когда даже выздоравливающий склонен обвинять тех, кто к нему не очень быстро подойдет! Ужас!

Утром Ваня умер.

В. Трунов.

Ценности церквей — голодным

Золото, золото, зло ты земное,
Блеск твой прельщает людей,
За тебя человек все продает дорогое
И душу, и близких любимых детей…
Золото, золото, силой волшебною
Всех положительно тянешь к себе:
И торгаш, ослепленный тобою,
И служители «бога» поклонились тебе…
За тебя продают и здоровье и силу,
Продают свою совесть и честь,
Всех преступлений за тебя совершенных
В мире земном и не счесть…
Пусть же хоть раз послужит оно в искупление
Всех преступлений, которых не счесть,
И вместо нарядов, ненужных богам,
Даст возможность голодным поесть.

Джиотти.

Добрый пастырь

Сейчас, когда страдают люди от голода, мне вспомнился один случай голодной смерти и отношение к нему духовенства:

В богатой, плодородной Бессарабии, где неисчерпаемое обилие всевозможных даров природы и дешевизна, были люди, голодавшие точно так же, как и теперь в неурожайных губ., и даже, как это не странно, умирающие от голода. В гор. Хотине в грязном и бедном еврейском квартале служила забитая крестьянская девушка.

Сирота, бедная и некрасивая, она не смогла обзавестись семьей на законном основании… Но разве от этого в ней менее сильна была жажда любви и материнства? В одинокой забытой деревушке она была еще сильнее и потому именно она так легко поддались первому ласковому слову случайно встретившегося на ее пути мужчины и, как выражаются узкие моралисты, — пала, т. о. не приняла мер предосторожности и родила ребенка, которого опять таки вследствие глубокозаложенного чувства материнство, она ни убила, ни бросила, даже не согласилась отдать чужой женщине на «соску», а самой использовать выгоды своего положения и пойти кормить чужое дитя. Она хотела сама кормить и растить свое дитя. Весь грех случайной встречи произошел, как говорила людская молва, на церковном огороде, прилегающем к еврейской усадьбе. Вечно голодная, она лазила в огород воровать зелень лука, не считая это большим грехом. Но духовная особа повидимому смотрела иначе и потребовала компенсации. Когда результаты вполне выяснились, добропорядочная семья, возмущенная ее безнравственностью, не пожелала пользоваться услугами и удалила из своего дома такой «вредный» элемент. Духовная особа не считала себя ответственной за ее неосторожность и девушке пришлось очень туго: на службу никто не брал — предложение превышает спрос, общественных работ вроде фабрик-заводов нет, охраны материнства и подавно. Устроилась девушка у какой-то доброй души, которая пользовалась ее услугами и кормила ее, пока не выманила последнюю тряпку, а потом выбросила ее с ребенком на улицу. Осенью, пока было тепло, она ночевала в городском саду, зарабатывая случайными работами. К зиме она так оборвалась, ослабела, что не могло быть и речи о работе. Тогда она стала в ряды нищих у церкви, но там ее укоряли «благочестивые» люди молодостью и материнством и гнали прочь! Страшно было смотреть на нее и на полугодовалого ребенка: это были кости, покрытые грязными, рваными тряпками,

кишащими насекомыми. Ребенок, с лицом старика, вечно пищал, нудно, тоскливо, как придавленный котенок.

На масленой она дошла до последней степени, будто помешалась от голода. Она уже не просила милостыни, а требовала, и чуть не вырывала у товарищей. Приходилось вмешиваться полиции. Однажды она проникла в церковь, в передние ряды нарядной публики, и воспользовавшись перерывом в богослужении, вдруг обратилась с речью к народу. Она обвиняла пастыря церкви, пожилого, «уважаемого» пастыря, называя его отцом своего ребенка. Она не умоляли, а требовала помощи. Она рыдала, грозила, проклинала небо и Бога. Показывала сытой, нарядной толпе свое иссохшее от голода дитя. Говорила, что оно имеет такое же право на жизнь, как и их «законные» дети… И «пастырь», и все «благочестивые» прихожане были возмущены такой дерзостью, нарушением благолепия в храме. И ее вывела полиция, легонько поталкивая ее. А в храме были горы приношений: — хлеба, яблок, меда, в память дорогих покойников для ловких живых… и тут же умирал человек от голода, не потому, что нечего было дать… А «уважаемый» пастырь в проповеди громил «грех материнства», называя девушку-мать проституткой, но умалчивал про отца…

Вечером это было… А на утро на дверях храма висела юная «грешница», почти нагая, на связанной из юбки веревке. И возле лежало замерзшее задушенное дитя. «Добрый пастырь» по этому поводу опять сказал прочувственное слово, громя грех самоубийства и не упустил случая собрать малую толику для освящения храма после такого осквернения. «Грешница» наказана в пример прочим: ее тело лишено было чести лежать в ограде кладбища, а закопано за оградой.

Служила семь лет, выслужила семь реп, да и тех нет.

Е. Галайская.

Лебединая песнь старой работницы

Я — дочь жестокой, темной доли:
Страданий сети мне жизнь плела.
Ковала цепи труда-неволи
И песни горя, смеясь лила…
Когда лежала я в колыбели
Мне песен не пела мать,
У нас нужда и горе песни пели,
А мать молчала… как не молчать…
Меня взрастил в подвалах темных холод,
Баюкал лишений тяжких гнет,
Вскормил в лохмотьях грязных голод
И пела песни семья забот.
Потом мне пели песнь машины:
Был подневольный труд, ужасные машины,
Калечат тело и угнетают дух.
Стучат, грохочут, и над бедняком хохочут и все поют:
Всегда работай, всегда работай, —
Хлеб добывай за капли пота,
За капли крови в цепях труда, —
Поют машины, — всегда, всегда!
Теперь я слышу красных звоны.
Но сил для песен нет. Я умираю
И новый труд, свободный труд,
От всей души благословляю.

Джиотти.

Красная заря

Засияла ярким светом
Не весною и ни летом,
Но к исходу Октября
Наша, красная заря.
Над землей победа встала
Не спросясь у капитала:
Мол, пора ли, не пора ль
На Октябрь сменить Февраль!
Капитал гневился дюже:
«Стойте, братцы, не бегите!
Вы нам дело повредите,
Дайте изготовить кнут,
Да надеть на вас хомут».
В бок об бок с капиталом,
генерал за генералом
Грозно двинулись на нас:
Правой, левой — раз!
Их была большая стая,
Даже мелких не считая.
И при них нагайка, танк,
Иностранных денег банк,
Золоченные погоны
И обломки от короны,
Офицеры, камергеры,
Лево-правые эс-эры,
Соглашатель — меньшевик,
Поп, кулак, и барский шик.
Генералы рысью скорой
Шли на нас с борзою сворой,
Не считались ни с чем.
Им грозит опасность всем.
В ногу, братцы: раз, два, три, четыре, пять,
Посадить царь опять!
Шесть, семь, восемь, девять, десять —
Коммунистов всех повесить!
Будем жить, как наши деды, —
Раздавайся гром победы!
Как прадеды и отцы
Правь, дворяне! Грабь, купцы!
Дошло время до победы.
Лига строила блокаду,

Лез Юденич к Петрограду,
А Деникин шел в Орел.
И Колчак куда то пер.
Раздалась погодка хмуро.
Перли Мамонтов и Шкуров
При поддержке медных лбов
На Воронеж и Тамбов,
Шли вперед сторонкой,
Подкреплялись самогонкой…
Вдруг, откуда ни возьмись — гроза!
Поспешили господа назад.
Было время, погуляли на просторе
А теперь все в Черном море.

Кр-ц. с курсов 1-ое мая С. Ц. Гринчук.

Загадка

На болоте плясала дюжина чертей, один провалился. Сколько осталось?

Ответы на загадки

№ 1 — сиг-ара.
№ 2 — «тпру», скажет лошади.
№ 3 — воз-прыщ-яйца (воспрещается).
а) 2 фун.
б) сколько зайца ни три, ушей будет 2.
в) $50 \cdot 2/1 = 100$.

На чужой каравай рта не разевай

Одна одинокая особа, любящая чужими руками жар загребать, задумала обзавестись ребенком, — при высокой смертности молодого поколения мысль похвальная, полезная для республики. Но дело в том, что она задумала обзавестись ребенком по новому способу, вот так таки сразу, покойно, без всяких предварительных хлопот, <…> на том, что много, мол, их валяется, никому не принадлежащих, пойду и возьму. Будет вроде как свой собственный. Уже предвкушая сладость материнских забот, мечтая, как старательно будет его воспитывать, — пошла она к Красным воротам. Прошлась по рядам, присмотрелась, выбрала девочку, а прицениться то и позабыла… Грязная, маленькая фигурка сидит и плаксиво тянет: «подайте Христа ради». Кажется беспомощное, никому не принадлежащее существо, а голыми руками его не возьмешь! Чувствуется в нем самостоятельность. Подошла особа и завела дипломатический разговор: — «Чего ты, милая, плачешь? — Есть хочу. — А где твоя мама? — Померла. — А папа? — Помер. — Откуда ты приехала? — С Сибири, с народом. — А где же ты

живешь? — Нигде. — А ночуешь? — Здесь. — Хочешь пойти ко мне? — Ночевать? — Нет, совсем. — В дочки? — Да, в дочки». Девочка подумала, оглядела особу, особенно обратила внимание на самодельные туфли и коротко ответила: — Хочу, — при чем ее личико осветилось милой детской улыбкой. Дорогой выяснилось, что девочка дочь безземельного крестьянина-рабочего; отец давно умер, а мать служила у богатых крестьян, но сейчас не было урожая, не было и надобности в рабочих руках и ее отправили. Сначала собирались — но богатый не дает, бедняк не имеет, а в Москве людей много, — подадут, и поехали. Дорогой мать умерла, а девочка по совету добрых людей основалась на людной улице. Квартирный вопрос не беспокоил: свернется тут же на солнышке, как котенок, и спит.

А сердобольные прохожие всегда найдутся — кто кусочек, кто 5–6 тысяченок, а грязные, мятые бумажки можно обратить в ирисы, семечки и т. п. прелести. Все время народ ходит разный, — хорошо! Весела, сыта, здорова и сидит себе, сидит… Пришли. У одинокой особы оказалась маленькая комнатушка, на $^3/_4$ занятая книгами и какими то диковинными вещами, — трубочки, стеклышки, на табуретке лежал пайковый хлеб и селедки. Она почистила их, полила маслом, поставила на окно, нарезала хлеба и пригласила будущую дочку кушать. Но дочка критически оглянув комнату и предложенное угощение, — приступила сразу к деловым разговорам: — А где ты спишь? — Здесь, на диване. — А я где буду спать? — Со мной. — А муж у тебя есть? — Нет. — Помолчала: — Ты мне купишь новое платье? — Куплю. — Голубое. — Почему голубое? — У меня глаза голубые. — Хорошо, пусть будет голубое. — А башмаки купишь? — Куплю сандалии. — Нет, белые туфли. — Можно белые туфли. — На каблуках? — Зачем на каблуках, маленькие девочки не носят на каблуках. — Нет, барышни все на каблуках. — А учиться ты хочешь? — Хочу, ты меня выучи танцевать, как я давеча видела на дворе в детском дому так и руками и головой… Опять помолчали. Девочка беспокойно ерзала ни месте. Хорошенькие голубые глазки смотрели не по детски деловито и розовые губки были и скривлены улыбкой презрения к предлагаемым удобствам: повидимому, она учла все «за и против» и решила уйти, но почему то стеснялась. Наконец, сползла со стуле. — Пойду. — Не хочешь быть моей дочкой? — Не, пойду, с учрежденьев скоро выйдут. — И «дочка» ушла. Но одинокая особа была упряма и своего намерения не оставляла. Проходя по улицам, она присматривалась к никому не принадлежащим детям, что то обдумывала… Однажды вечером она заметила под забором маленький неимоверно оборванный и

грязный комочек, ежившийся и дрожавший. Было холодно и накрапывал дождь. Не пускаясь в длинные разговоры, особа подняла грязный комочек, оказавшийся мальчуганом лет 6 с бойкими глазенками на вымазанной рожице. Привела домой. По дороге купила сосисок и белого хлеба. Дома вымыла и переодела нового сына в какие то подходящие части женского костюма, а его тряпки на веревочке вывесила за окно. Наевшись, ребенок улегся на диване. Сытый и обогревшийся, он непринужденно болтал, пересыпая разговор словечками, не вошедшими в литературу… и наконец уснул. Ночью случилось маленькое недоразумение, но на предложение переодеться и лечь на другое место, он философски заметил: «ничего, высохнет». Сладко потянувшись, он осмотрелся по комнате, прищурился на электричество, зевнул и спросил: «табак есть?» «Нет, да зачем тебе табак?» — удивилась недогадливая особа. — Покурить хотца, — ответил малыш. — Плохо ты живешь — глубокомысленно добавил он.

Утром «сын» ушел…

Одинокая.

Горн дышет

Горн дышет… пламя пышет…
И железо рдеет, рдеет, багровеет…
Вот, налилось кровью точно, заискрилось,
Но в клещах железных стало прочно
И теперь оно покорно млату.
Бесполезно и напрасно
Извиваться гибким телом,
Укрепить его проворно мы сумеем.
Оно красно!
Бело!

Ну так смело
В три руки — колоти,
Изменяй, не спускай с него глаз.
За ударом шли удар!
Раз, два, раз!
Крепче бей, не жалей!
Что? Устали? Знойно? Жарко?
Не воронь! Перестали?
Вновь в огонь!
Кузнецы мы, творцы жизни яркой, обновленной,
Мы сотрем,
Разобьем
Нашей кровью обагренный старый мир!
Все, кто сир, кто судьбою обделен,
Будет нами награжден.
Лишь смелей,
не робей, не тоскуй,
В руки молот
и в жар и в холод бодро куй!

Е. Джиотти.

notes

Примечания

1

Это записано со слов отчаянного хулигана, мальчика 13 лет. Грозы всего отделения Московского Покровского детского приемника, бежавшего уже несколько раз из детских садов и критиковавшего все их порядки. У него тяготение в деревню, к земле — чуткая душа, умеющая понимать красоту природы! Город его давит. Он попытал все виды порока, но остался все тот же, сын полей. Ночью, в минуту откровенности, он и рассказал мне все вышеописанное, когда я застала его в слезах. Во 1-х он жаловался, что его разлучили с другом, во 2-х он боятся опоздать на Кубань к началу сезона полевых работ. А в 3-х ничем не занят и весь избыток энергии изливает в драках и шалостях. Но это уже не его вина. Главное, у него сохранилась любовь к труду и он не пропадет. И я верю, когда он попадет в колонию или школу в нормальные условия — то будет самым восприимчивым и к добру, как был ко злу.

2

Этот проект был мной предложен на курсах «1 мая» еще в декабре 1921 года и по возможности проводился в жизнь, но встречал со всех сторон противодействие. А теперь предписываются везде экскурсии, как обязательный метод работы.

В. Ч.